Прежние обитатели и зимние гости

Я пережил не одну веселую вьюгу и провел не один приятный вечер у своего очага, пока за окном бешено кружился снег и умолкло даже уханье совы. Выходя из дому, я по целым неделям не встречал никого, кроме тех, кто приходил нарубить дров и отвезти их на санках в поселок. Но Природа помогла мне проложить путь по самому глубокому снегу; там, где я однажды прошел, ветер нанес в мои следы дубовых листьев, которые поглотили солнечные лучи и растопили снег и таким образом не только приготовили мне сухую тропинку, но, темнея на снегу, указывали мне путь по вечерам. Чтобы общаться с людьми, мне пришлось вызывать в своем воображении прежних обитателей этих лесов. Еще на памяти многих моих земляков дорога возле моего дома оглашалась смехом и говором жителей, а окаймлявший ее лес пестрел садиками и домами, хотя лес был тогда гораздо гуще нынешнего. Я сам еще помню, что в некоторых местах фаэтон с трудом проезжал между сосен, а женщины и дети, когда им приходилось одним и пешком добираться этой дорогой до Линкольна, робели и часто бóльшую часть пути бежали бегом. Это была всего лишь колея, ведущая к ближайшим деревням или к порубкам, но когда-то она радовала путника большим разнообразием и дольше оставалась в его памяти. Там, где сейчас от поселка к лесам тянутся открытые поля, шла гать через болото, поросшее кленами: остатки ее наверняка можно до сих пор найти под нынешней пыльной дорогой между фермой Страттен, где сейчас богадельня, и холмом Бристер.

К востоку от моего бобового поля, через дорогу, проживал Катон Ингрэм — раб Данкапа Ингрэма, эсквайра, джентльмена из поселка Конкорд, который выстроил своему рабу дом и разрешил ему жить в Уолденском лесу — Катон, только не Утический,[251] а Конкордский. Говорят, это был негр из Гвинеи. Некоторые еще помнят его небольшой огород среди ореховой рощи, которой он хотел дать подрасти, надеясь пользоваться ею под старость, но она в конце концов досталась владельцу помоложе и побелее. Впрочем, и тот сейчас переселился в иное, столь же тесное жилище. На месте Катонова погреба еще осталось углубление, хотя его знают немногие, потому что со стороны дороги его заслоняет группа сосен. Сейчас оно заросло гладким сумахом (Rhus glabra) и пышными кустами раннего золотарника (Solidago stricta).

На самом краю моего поля, еще ближе к городу, стояла хижина негритянки Зильфы, которая пряла лен для горожан и оглашала Уолденский лес звонким пением, потому что была на редкость голосиста. В войну 1812 г.[252] домик ее был подожжен пленными английскими солдатами, отпущенными на честное слово; хозяйки не было дома, а кошка, собака и куры — все сгорели. Ей жилось тяжело, почти невыносимо. Один старожил, часто бывавший в лесу, помнит, что проходил днем мимо ее дома и слышал, как она бормотала над кипящим горшком: «Все вы кости, кости, кости!» — Здесь в дубняке мне еще попадаются кирпичи.

Ниже по дороге, по правой стороне, на холме Бристер, жил Бристер Фримен, «негритянский умелец», раб сквайра Каммингса, — и сейчас там еще растут яблони, которые Бристер насадил и вырастил; теперь это большие старые деревья, но плоды их все же дики и кисловаты на мой вкус. Недавно я прочел надпись на его могиле на старом линкольнском кладбище, в стороне, возле безымянных могил британских гренадеров, павших при отступлении от Конкорда; он назван там «Сиппион Бристер» (а надо бы «Сципион Африканский»), а также «цветной» — словно он мог обесцветиться. Крупная надпись указывала также, когда он умер, что было косвенным сообщением о том, что он вообще жил на земле. С ним жила Фенда, его гостеприимная жена, которая умела гадать, но всегда только одно приятное — большая, толстая и черная, чернее всех детей ночи; темное светило, каких не всходило над Конкордом ни прежде, ни с тех пор.

Ниже по склону, слева, вдоль старой лесной дороги сохранились следы усадьбы Страттенов; их фруктовый сад некогда занимал весь склон холма Бристер, но его уже давно вытеснили смолистые сосны, и уцелело лишь несколько пней; их старые корни до сих пор поставляют многим бережливым сельчанам отростки для прививок.

Еще ближе к городу, на другой стороне дороги, на самой опушке леса, была усадьба Брида, прославленная проделками нечистого духа, точно не обозначенного в мифологии, но игравшего весьма важную роль в жизни Новой Англии и заслужившего, как и всякая мифическая личность, чтобы когда-нибудь было составлено его жизнеописание. Сперва он является под видом друга или нанимается в работники, а потом грабит и убивает всю семью; имя ему — Новоанглийский Ром. Но разыгравшиеся здесь трагедии еще рано заносить в анналы истории; пусть время сперва несколько смягчит их и затянет голубой дымкой. Здесь, согласно смутному преданию, некогда стояла таверна, и еще уцелел колодец, из которого разбавляли напитки путников и поили их коней. Здесь люди встречались, обменивались новостями и расходились каждый своей дорогой.

Какую-нибудь дюжину лет назад хижина Брида была еще цела, хотя давно уже необитаема. Она была размером примерно с мою. Если не ошибаюсь, однажды в день выборов ее подожгли озорные мальчишки. Я в то время жил на краю поселка и только что углубился в чтение «Гондибера»[253] Давенанта. В ту зиму я был постоянно сонный и не знал, чему это приписать: наследственности — потому что у меня есть дядя, который засыпает за бритьем, а по воскресеньям вынужден перебирать в погребе проросший картофель, чтобы не уснуть и блюсти день воскресный, — или же тому, что я пытался читать подряд антологию английской поэзии Чалмерса[254]. Она одолела моих нервиев[255]. Едва я положил голову на книгу, как зазвонил пожарный колокол и помчались пожарные машины, возглавляемые беспорядочной толпой мужчин и мальчишек, в которой я оказался одним из первых, потому что перепрыгнул через ручей. Нам казалось, что горит где-то к югу за лесом; нам и раньше случалось бегать на пожары — амбара, лавки или дома или всего вместе; «Это горит амбар Бейкера», — кричал кто-то. «Нет, это у Кодмена», — утверждал другой. Но тут над лесом взлетели новые снопы искр, точно провалилась крыша, и мы все закричали: «Конкорд, на помощь!». Мимо нас с бешеной скоростью помчались повозки, битком набитые людьми, среди которых был, может быть, агент страховой компании, ехавший по обязанности, как бы далеко это ни было; время от времени позади нас звякал колокол пожарной машины, ехавшей более медленно и верно; а позади всех, как шепотом передавали потом, шли те,

кто поджег и поднял тревогу. Мы неслись вперед, как истые идеалисты, не доверяя показаниям наших чувств, пока на одном из поворотов не услыхали потрескивания и нас не обдало жаром, — тогда мы поняли, увы! что прибыли на место происшествия. Впрочем, близость огня охладила наш пыл. Сперва мы предложили вылить на него пруд; а потом предоставили дому догорать — все равно он был уже весь охвачен огнем, да и стоил немного. И мы столпились вокруг нашей машины, подталкивая друг друга; мы громко выражали наши чувства или более тихим голосом вспоминали крупнейшие в мире пожары, в том числе пожар в лавке Баскома, и, между нами говоря, считали, что подоспей мы только вовремя с нашей бочкой, да если бы пруд был под рукой, мы сумели бы и этот грандиозный пожар превратить в новый потоп. Наконец мы убрались, не наделав вреда, возвратились к прерванному сну и к Гондиберу. Что касается Гондибера, я исключил бы то место в предисловии, где он называет остроумие духовным порохом — «но большей части человечества остроумие неизвестно, как индейцам неизвестен порох».

На следующий вечер мне случилось идти полем мимо пожарища; услыхав оттуда тихие стоны, я подошел и обнаружил единственного уцелевшего члена семьи, знакомого мне, — наследника ее добродетелей и пороков, единственного, кому пожар не был безразличен; он лежал на животе, перегнувшись через стенку погреба, где еще тлели угли, и по всегдашней своей привычке что-то бормотал себе под нос. Он весь день работал на дальних приречных лугах и воспользовался первыми свободными минутами, чтобы посетить дом своих отцов и своего детства. Он заглядывал в погреб со всех сторон поочередно и при этом каждый раз ложился, словно разыскивал сокровище, спрятанное между камней; а между тем там не было ничего, кроме кучи кирпича и золы. Дома не было, и он осматривал то, что уцелело. Ему было приятно сочувствие, которое я выражал самым своим присутствием; насколько позволяла темнота, он показал мне, где у них крытый колодец — его-то уж, слава богу, не спалишь! — и ощупью прошел вдоль стены, чтобы найти журавль, поставленный его отцом, и железный крюк или скобу на тяжелом конце его, к которому подвешивали груз, — за что еще было ему ухватиться? Ему хотелось доказать мне, что колодец у них был устроен наилучшим образом, а не как-нибудь. Я все это ощупал и до сих пор часто оглядываюсь на колодец, проходя мимо, — ведь это все, что осталось от целой семьи.

Еще левее, там, где теперь открытое поле, но сохранился колодец и кусты сирени под стеной, жили Наттинг и Ле Гросс. Но пора, однако, обратиться в сторону Линкольна.

Дальше всех в лесу, там, где дорога ближе всего подходит к пруду, жил горшечник Уаймен, который снабжал горожан гончарными изделиями и оставил наследников своему делу. Нельзя сказать, чтобы они были богаты; на участке их просто терпели, и шериф часто, но тщетно приходил к ним за налогом и только для порядка «навешивал бирку», как я читал в его отчетах, потому что взять с них было нечего. Однажды летом, когда я работал мотыгой, около меня остановилась лошадь, и какой-то человек, везший на рынок воз горшков, спросил про Уаймена-младшего. Он когда-то купил у него гончарный круг и хотел знать, что с ним сталось. Я читал в писании о гончарной глине и круге, но как-то всегда думал, что наши горшки сохранились с тех самых пор или вырастают, как тыквы, и мне было приятно узнать, что по соседству со мной кто-то занимался этим ремеслом.

Последним, кто обитал в этих лесах до меня, был ирландец Хью Койл, занявший хижину Уаймена, — его величали полковником. Ходил слух, что он сражался при Ватерлоо. Если бы он был жив, я заставил бы его порассказать о битвах. Здесь он был землекопом. Наполеон отправился на остров св. Елены, а Койл — в Уолденские леса. Все, что мне о нем известно, — трагично. Видно было, что он повидал свет; у него были изысканные манеры, и он умел говорить вежливее, чем его умели слушать. Даже летом он носил шинель, потому что его била дрожь, а лицо у него всегда было багровое. Он умер прямо на дороге у подножья холма Бристер, вскоре после моего переселения в лес, поэтому я не запомнил его как соседа. Я побывал у него в доме перед тем, как его снесли, — его товарищи избегали там бывать, считая дом «несчастливым». На дощатой кровати лежала его старая одежда, от долгой носки принявшая форму его тела, и казалось, что это лежит он сам. У очага валялись обломки его разбитой трубки, вместо кувшина, разбитого у источника[256]. Последний не мог бы служить символом его смерти — он признался мне однажды, что слыхал об источнике Бристера, но никогда его не видел. По полу были разбросаны засаленные карты — короли бубен, пик и червей. В соседней комнате еще сидел на насесте черный цыпленок, которого не сумел поймать чиновник, описавший имущество; черный, как ночь, и столь же безмолвный, он ожидал Рейнеке-Лиса[257]. За домом смутно виднелся сад, который хозяин посадил, но ни разу не мотыжил из-за страшных приступов лихорадки, хотя пришло уже время сбора. Сад зарос чередой, а вместо плодов был полон репьев, которые облепили мою одежду. У задней стенки была растянута свежесодранная шкура сурка — трофей его последнего Ватерлоо, но ему уже не нужны были ни шапка, ни рукавицы.

Сейчас от этих жилищ остались только углубления в земле и камни от погребов; на солнечных местах разрослась земляника, американская малина, орешник и сумах; на месте очага растет смолистая сосна или сучковатый дуб, а на месте порога качается душистая темная береза. Иногда видна и впадина бывшего колодца; там, где некогда сочился ключ, торчит сухая трава; а иногда колодец тщательно закрыт плоским камнем и дерном — это сделал последний из обитателей и его еще долго никто не найдет. Как это, наверное, печально — закрывать колодец! В это время источник слез, должно быть, наоборот, раскрывается. Впадины погребов, похожие на старые лисьи норы, — вот все, что остается; а ведь когда-то здесь шла шумная людская жизнь и в какой-то форме, на каком-то языке наверняка рассуждали о «предвиденье, и о свободе воли, и о судьбе»[258]. Впрочем, из всех их рассуждений до меня дошло лишь одно, а именно, что «Катон и Бристер заговаривали зубы», и это почти так же назидательно, как история более известных философских школ.

Еще много лет после того, как исчезли и дверь и порог, пышная сирень каждую весну раскрывает для замечтавшегося путника свои душистые цветы; когда-то ее сажали и холили детские руки перед входом в дом, а сейчас она подымается на заброшенном лугу и отступает перед лесной порослью — последний обломок семьи. Сажая в тени дома этот маленький росток всего с двумя глазками и ежедневно его поливая, темнокожие дети не думали, что он укоренится так прочно и переживет и их, и самый дом, защищавший его своей тенью, и даже сад и огород взрослых и через полстолетия после их смерти будет тихо рассказывать о них одинокому путнику, и будет цвести так же пышно и благоухать так же нежно, как в ту первую весну. Теперь я любуюсь его нежными, приветливыми и веселыми лиловыми цветами.

Но отчего же исчезло это маленькое селение, зародыш чего-то большего, а Конкорд, наоборот, уцелел? Быть может, из-за неудачного расположения или плохой воды? А глубокий Уолденский пруд, а прохладный ключ Бристера — чем плоха их вкусная и здоровая вода, которой жители умели только разбавлять спиртные напитки? Все они были одержимы жаждой. Отчего не расцвело здесь плетение корзин и циновок, изготовление метел, поджаривание кукурузных зерен, прядильное и гончарное ремесла, которые превратили бы пустыню в пышный сад и оставили землю отцов в наследие многочисленному потомству? По крайней мере, здешняя бесплодная почва не дала бы жителям обленитъся, как это бывает в долинах. Увы, следы здешних жителей не украсили пейзажа! Сейчас, быть может, Природа делает новую попытку в моем лице, и моему дому, выстроенному прошлой весной, суждено стать первым в деревне.

Насколько мне известно, на том месте, которое я занял, не строился еще никто. Да избавит меня бог от города, воздвигнутого на месте другого, более древнего; строительный камень там берут из развалин, а сады разбивают на кладбищах. Земля там белеет костями и проклята от века и сама до времени рассыпается прахом. Всеми этими воспоминаниями я населил лес, и они меня убаюкали.

В зимнюю пору ко мне редко кто заглядывал. По глубокому снегу ни один путник неделями не отваживался подойти к моему дому; а мне жилось уютно, как полевой мыши или как домашнему скоту и птице, которые, говорят, могут долго жить под снежным заносом даже без пищи; или как семье того поселенца в городе Саттон, в нашем штате, у которого в снежную зиму 1717 г. домик совсем занесло, а он как раз отлучился, и семью спас какой-то индеец, обнаруживший дом по отверстию в снегу, там, где оно обтаяло вокруг дымовой трубы[259]. Обо мне не заботился ни один дружественный индеец, да и зачем ему заботиться, если сам хозяин был дома? Снежные заносы! Как весело о них слушать! Фермеры не могли добраться за дровами до леса и болота и были вынуждены рубить деревья возле дома, дающие им тень; а когда снежный наст затвердел, рубили деревья на болоте, в десяти футах от земли, как обнаружилось весною.

Когда снег лежал всего глубже, тропинка от моего дома к дороге, длиной в полмили, имела вид извилистой пунктирной линии, с большими промежутками между точками. Целую неделю, пока стояла устойчивая погода, я делал туда и обратно одно и то же количество шагов одинаковой длины, ступая по собственным глубоким следам с точностью циркуля, — к такой точности приучает нас зима, — но следы эти часто были полны небесной влагой. Однако никакая погода не мешала моим прогулкам, вернее, походам, потому что я часто делал восемь — десять миль по самому глубокому снегу ради свидания с каким-нибудь буком или березой, или старой знакомкой из сосен; когда их ветви опускались под тяжестью льда и снега, они становились похожими на ели. Увязая в сугробах, я всходил на самые высокие холмы, когда и на равнине снег лежал чуть ли не на два фута, и на каждом шагу обрушивал себе на голову новый снегопад; а иногда вползал туда на четвереньках, в такую пору, когда охотники давно сидели на зимних квартирах. Однажды я наблюдал среди бела дня полосатую сову (Strix nebulosa), сидевшую на низкой сухой ветке сосны, у самого ствола, всего в нескольких шагах от меня. Она слышала мои движения и хруст снега у меня под ногами, но плохо меня видела. При более сильном шуме она вытягивала шею, ерошила перья и широко раскрывала глаза, но скоро веки ее снова опускались, и она клевала носом.

Поглядев с полчаса, как жмурится, точно кошка, эта крылатая кошачья сестра, я почувствовал, что и меня тоже клонит ко сну. Между век ее виднелась только узкая щелка — перешеек, оставленный для связи со мной; выглядывая полузакрытыми глазами из страны снов, она пыталась постичь меня — неясный предмет, маячивший на фоне ее видений. Порой, при моем приближении или более громком звуке, она тревожилась и неуклюже поворачивалась, недовольная тем, что я прерываю ее сон, а когда она сорвалась с места и понеслась между сосен, неожиданно широко раскинув крылья, ее полет был совершенно беззвучен. Находя дорогу между ветвей не столько зрением, сколько тонким ощущением их близости, как бы нащупывая путь своим нежным оперением, она полетела искать новую ветку, где могла спокойно дождаться восхода своего дня.

Проходя лугами, по длинной насыпи, сделанной для железной дороги, я часто встречал резкий колючий ветер, который нигде не гуляет так свободно, как там; когда мороз щипал меня за одну щеку, я подставлял другую,[260] хоть я и язычник. Не лучше было и на проезжей дороге, ведущей с холма Бристер. Ибо я продолжал ходить в город, точно мирный индеец, даже когда весь снег с полей громоздился на уолденской дороге и довольно было получаса, чтобы замести следы последнего прошедшего путника. На обратном пути мне приходилось барахтаться в свежих сугробах на крутых поворотах, где неутомимый северо-западный ветер наносил пушистый снег и не видно было ни одного заячьего следа или хотя бы мелкого почерка полевой мыши. Но даже глубокой зимой мне почти всегда встречалось теплое болотце с упругими кочками, где вечно зеленеют трава и заячья капуста и дожидается весны какая-нибудь закаленная птица.

Иной раз, несмотря на заносы, вернувшись с вечерней прогулки, я находил у своих дверей глубокие следы какого-нибудь лесоруба; у очага лежала куча стружек, а в доме пахло трубочным табаком. Или в воскресенье, под вечер, когда мне случалось быть дома, снег скрипел под ногами некоего рассудительного фермера,[261] который пробирался издалека ради беседы со мной, — одного из тех немногих, кто и на ферме остается человеком, кто по своей воле надел блузу вместо профессорской мантии и одинаково готов порассуждать о церкви и государстве или вывезти со скотного двора воз удобрений. Мы с ним беседовали о простых, патриархальных временах, когда люди в холодную, бодрящую погоду сидели у больших очагов и в головах у них было ясно; если не было другого десерта, мы не раз пробовали крепость наших зубов на орехах, давно брошенных мудрыми белками, потому что под самой толстой скорлупой обычно бывает пусто.

Тот, кому приходилось шагать ко мне дальше всех, по самому глубокому снегу и в самую свирепую вьюгу, был поэтом[262]. Такие препятствия способны отпугнуть фермера, охотника, солдата, репортера и даже философа; но ничто не может устрашить поэта, ибо он движим чистой любовью. Кто предскажет его приход или уход? Его дело призывает его во всякий час, когда спят даже врачи. Мой домик оглашался шумным весельем или наполнялся журчаньем мудрой беседы, и долина Уолдена вознаграждалась таким образом за долгую тишину. По сравнению с этим даже Бродвей мог показаться тихим и безлюдным. Через положенные промежутки времени раздавались взрывы смеха, которые равно могли относиться и к только что сказанной, и к ожидаемой шутке. Мы создали немало «совершенно новых» жизненных концепций за тарелкой каши; такое угощение позволяло сочетать застольное веселье с ясностью мысли, необходимой для философии.

Я не должен забывать, что в последнюю зиму моей жизни на пруду у меня бывал еще один желанный гость,[263] который шагал через весь поселок в темноте, под снегом и дождем, пока не видел между деревьев огонек моей лампы; не раз он коротал со мной долгие зимние вечера. Один из последних философов — его подарил миру Коннектикут, — он торговал вразнос изделиями своего штата, а позже, как он говорил, своим мозгом. Этим он занимается и по сию пору, пытаясь толковать слово божие и устыдить человека, вместо всех других плодов принося лишь плод своих раздумий, как орех — вызревающее в нем ядро. Мне думается, что из всех живущих на земле у него больше всего веры. Его слова и поведение всегда говорят о чем-то лучшем, нежели то, что знакомо большинству людей; и если он разочаруется со временем, то самым последним из всех. Он не делает ставки на настоящее. Сейчас его знают сравнительно мало, но когда настанет его день, вступят в силу законы, о которых большинство и не подозревает, и отцы семей и правители стран придут к нему за советом.

Слепец — кому покой не видим![264]

Это подлинный друг людей, едва ли не единственный друг человеческого прогресса, американский Патерсон,[265] с неутомимой верой и терпением толкующий бога, запечатленного в образе человека; того бога, которого люди являются лишь искаженными и расшатанными подобиями. В его гостеприимных мыслях находится место и для детей, и для нищих, и для безумцев, и для ученых; он думает обо всех со свойственной ему широтой. Ему следовало бы содержать караван-сарай на всемирной дороге, где философы всех наций могли бы найти приют; а на вывеске его надо бы написать: «Ночлег для человека, но не для его скотины[266]. Входите все, имеющие досуг и душевный покой, все, усердно ищущие пути истинного». Это, вероятно, самый здравомыслящий человек, какого я знаю, и с наименьшим числом причуд; завтра он будет тот же, что был вчера. Во время оно мы с ним бродили и беседовали и умели отрешиться от мира, ибо он не признавал никаких установлений; то был подлинно свободный человек, ingenuus (свободнорожденный — лат.). Куда бы мы ни направлялись, везде, казалось, небеса смыкались с землей, ибо он украшал собой пейзаж. Человек в синей одежде, для которого самой подобающей кровлей был небесный свод, отражавший его безмятежное спокойствие. Я не представляю себе, чтобы он мог умереть — Природа не может обойтись без него.

У каждого из нас были наготове хорошо высушенные щепки всяких мыслей, и мы принимались их строгать, пробуя свои ножи и любуясь светло-желтой сосновой древесиной. Мы ступали так тихо и почтительно и тянули сеть так дружно и согласно, что не спугивали рыбок наших мыслей, и они не боялись стоявших на берегу рыболовов; они плыли величаво, подобно облакам на закатном небе, тем перламутровым стадам, которые там иногда рождаются и тают. Мы трудились на совесть, пересматривая мифологию, досказывая то одну, то другую сказку и строя воздушные замки, для которых на земле не было достойного фундамента. Как он умел видеть! как умел ждать! Говорить с ним было истинной ново-английской Сказкой Тысяча и одной ночи. Что за беседы мы вели втроем — отшельник, философ и тот старый поселенец,[267] о котором я говорил, — как только мог мой домик вмещать и выдерживать все это! Не смею сказать, насколько фунтов выше атмосферного подымалось там давление на каждый квадратный дюйм; у домика расходились швы, и их приходилось потом конопатить большим количеством скуки, но этой пакли у меня было

запасено достаточно. Был еще один, с которым у меня было много памятных встреч в его доме в поселке и который иногда заглядывал и ко мне; и вот все мое общество.

Как и везде, я иногда ждал там Гостя, который не приходит. Вишну Пурана[268] учит нас: «Хозяин дома должен ожидать вечером во дворе столько времени, сколько надо, чтобы подоить корову, или дольше, на случай прихода гостя». Этот долг гостеприимства я выполнял часто и ждал столько, что можно было подоить целое стадо коров, а человек из города по-прежнему не шел[269]

Версия #1
Зверобой создал 10 апреля 2025 22:16:02
Зверобой обновил 10 апреля 2025 22:16:37